

# МУХАММ ХУРАЙБАЛИЕВ



I

В конце концов дачникам было скучно. Все это был народ, который много говорил о том, что любит природу, восхищался морскими далями, закатом и облаками на таинственной вершине угрюмого мыса, но почти все приехали из больших городов, где природу видели только на картинах и слишком привыкли думать о ней, как о чем-то волшебном, что может совершенно изменить жизнь и дать какие-то особенные, невероятные удовольствия. И потому, хотя все было действительно красиво — и облака на мысе таинственны, и море голубо, и волны нежны и говорливы, и солнце ярко, — все это казалось однообразным. Хотелось чего-то необыкновенного... какой-то особенной любви, поэтичной, красочной, в которой растворились бы тело и душа, как растворяются они, когда совершенно нагой лежишь на горячем прибрежном песке, в убаюкивающей ванне солнечных лучей, видишь только небо да море, а у ног тихонько звенит совсем прозрачная смеющаяся волна, такая маленькая и кроткая, точно серебряная рыбка, плескающаяся на солнце.

А этого ничего не было. Природа, как всегда, была прекрасна, а жизнь ленива и скучна. Правда, утром, когда ходили купаться и ныряли в голубой волне, было весело, но все-таки чего-то не хватало.

Женщины в пестрых костюмах, сверкая голыми руками, отплывали в море и лежали на воде, точно отдаваясь горячему солнцу. Мужчины с высокого помоста прыгали в воду, ныряли и фыркали, как тюлени. И те, и другие издали поглядывали друг на друга. Мужчины волновались, когда видели над волной круглые розовые руки или неожиданно сквозь щели купальни замечали неосторожное нагое и стройное, мгновенно исчезающее тело. А женщины смеялись звонко и нервно, чувствуя на себе жадные взгляды.

Но потом те и другие одевались и выходили на набережную, одетые, притворяющиеся, что под платьями нет ни наготы, ни желания. Они здоровались, с любезным оживлением болтали о пустяках и расходились обедать.

Набережная пустела, и бесполезно жгло ее белые камни далекое солнце. Только на обрыве, над морем, сидели одинокие девушки с книгами, и нельзя было понять, как могут они читать, когда солнце так горит, и небо такое голубое, и море такое большое. Иногда они устало опускали книгу на колени и долго задумчиво смотрели в растопленную солнцем морскую даль, где чуть мерещились пароходы, плывущие, казалось, в какую-то далекую счастливую страну. А потом потягивались, закинув руки за голову и выгибаясь стройным, гибким телом.

Вечером, когда над морем стояла белая луна, вокруг нее небо было теплое и дальний мыс таял в прозрачной дымке, на обрыве начиналась особенная, таинственная жизнь. То тут, то там раздавались голоса и странно громки были только женские. Мужчины бурчали так тихо, что можно было подумать, будто там одни женщины. И оттого казалось, что они говорят и просят о чем-то таком, чего нельзя сказать громко. А в звонком и лукаво наивном смехе женщин отчетливо слышалось:

— Знаю, чего тебе хочется от меня... Может быть, догадайся, я сама хочу того же... Но я не скажу этого, нет, не скажу...

Это были счастливые, которые уже нашли то, чего им было нужно от этой солнечной и лунной природы, от моря и теплой южной ночи. А остальные, в смутном ожидании какого-то счастья, ходили по набережной, слушали разухабистый военный оркестр, в котором, казалось, было слишком много барабанов, смеялись повторяющимся островам и ужинали на поплавках. Им было скучно и обидно, точно кто-то обманул их.

На том поплавке, который был ближе к музыке, каждый вечер ужинала одна и та же компания случайных курортных знакомых: веселый доктор, в белой панаме, с женой — молодой и бледной дамой; известный писатель, большой и басистый мужчина, с огромной швейцарской трубкой в зубах; больной чахоткой студент и тоненькая, большеглазая, как будто бы вся голубая девушка, которую днем постоянно видели с красками, примостившуюся где-нибудь у розовых камней, облизываемых белой пеной.

Это была дружная компания интеллигентных, неглупых людей. Благодаря тому, что среди них был известный писатель, многие с любопытством и завистью поглядывали на их столик и прислушивались к их разговорам. Поэтому писатель говорил преувеличенно громко и важно дымил своей трубкой.

Должно быть, потому, что среди них была молоденькая, еще не любившая, но готовая полюбить девушка, такая хорошенькая в своей синей юбке и белой рубашке с синими полосками, разговор постоянно вертелся около любви.

Каждый говорил о ней по-своему. Доктор отрицал, как счастливый человек, и когда он высмеивал мнимую поэзию чувства, намекая, что не в поэзии тут дело, жена его улыбалась и поглядывала на мужа влюбленными, лукавыми глазами. Писатель, пуская клубы дыма и щеголяя наблюдательностью, вдавался в тонкости психологии, говорил так хорошо, как будто писал рассказ, но никак нельзя было понять, во что он сам верит. Больной студент, иронически покашливая, подпускал пессимизма, и его болезненные колкости, пылающий румянец на острых скулах и беспричинная злость говорили ясно, как хочется ему ласки и любви вот такой милой, нежной и чистой девушки. А она слушала внимательно, серьезно поворачиваясь к тому, кто говорил, казалось, прислушивалась к чему-то в глубине своей тонкой, целомудренно пылкой души.

— Что вы мне говорите, — злился чахоточный студент, точно боялся, как бы их речи не вскружили светловолосой и темноглазой головки, прислушивающейся к каждому слову и бледнеющей от волнения. — Любовь... Разбираться в том, есть ли это просто грубый половой инстинкт или какое-то сложное чувство... шестое чувство... — болезненно покривился он, — я не буду. Любовь есть факт, а все остальное в высокой степени второстепенно... Я знаю только то, что в любви нет ничего облагораживающего, как вы говорите, а, напротив, она унижает и обесцвечивает человека.

Он заметил, как темные глаза испуганно-повернулись к нему, и продолжал, возвышая надорванный голос:

— Говорят, человек, купивший фарфоровый сервиз, потерял свободу, а тут не сервиз... Вы чужую жизнь берете. И вечно должны вы помнить, что каждое ваше слово, каждый ваш шаг отражаются на другом, и притом — на человеке, которого вы любите, который вам дорог... Это ведь ужасно... Вы не хотите, не можете и не имеете права огорчить, сделать несчастным, испортить чужую жизнь... А потому мало-помалу приучаетесь казаться веселым, когда вам скучно, работать, когда вам не хочется, дорожить своей жизнью, когда вам нужно поставить ее на карту... Самое натуральное рабство... Говорят, что любовь есть предпочтение одного перед всеми...

— Зачем же перед всеми? — игриво перебил веселый доктор и переглянулся с женой таинственным, говорящим взглядом, от которого она покраснела и притворно погрозила ему пальцем.

Студент покосился на них, подумал, что это пошло, и брезгливо заметил, как будто вскользь:

— Несчастливая любовь — страдание, а чересчур счастливая — пошлость... Любовь же умеренная, как теплая вода, ни то ни се... и не любовь вовсе... Так, значит, если правда, что любовь есть предпочтение одного перед всеми, то ведь это-кастрация... Человек отказывается от всего, что может быть лучшего, надевает шоры, становится дураком, факиром, который удовлетворен созерцанием своего пупка и не видит, как мимо проходит каждый день новая красота, целый хоровод новых возможностей счастья и радости... Да, может быть, когда-нибудь и додумаются до форм истинно свободной любви, но теперь увы! — единственная форма свободы в половых отношениях, извините за выражение, проституция.

Писатель, щурясь от дыма, с высоты своего огромного роста посмотрел на его бледное озлобленное лицо и подумал:

«Бедняга... А ведь он, кроме дешевых публичных домов, ничего не видел в своей жизни... Так и умрет, не увидев, и будет думать, что прав».

Веселый доктор, которому надоели отвлеченные рассуждения, сказал:

— Во многом вы, конечно, правы... Мужчина и женщина слишком не похожи друг на друга и ожидать, что они придут к соглашению без тяжких взаимных уступок, нелепо... Да и вообще... каких только трагических коллизий не создает эта самая любовь... Вот, например, здесь, недалеко на хуторе, живет один мой хороший приятель, некто Перовский...

— Перовский?.. А, да... — оживившись, отозвался писатель. — Это действительно драма...

И, почему-то повернувшись прямо к девушке, он красиво и интересно рассказал длинную историю.

Этот Перовский еще студентом сошелся с женщиной гораздо старше его. Ему было лет двадцать пять, а ей под сорок, но она была очень хороша. В прелести увядающей женщины есть что-то невыразимо обаятельное, напоминающее осеннюю астру. Трогает красота, которая сегодня так красочна и привлекательна, а завтра осыплется, как осенний цветок. И в сознании своей последней красы она становится особенно нежна, дорожит каждой лаской, отдается полно и бесстыдно, как могут отдаваться только умирающие, для которых уже не существует завтрашний день. И чем моложе мужчина, чем сильнее в нем запрос сладострастия, тем ярче чувствует он эту прелесть. Оттого постоянно явление, что очень молодые мужчины отдают свою первую любовь женщинам известного возраста.

— Может быть, еще и потому, — говорил писатель, — что в любви такой женщины всегда есть оттенок материнства, который так трогает и привязывает... У этого Перовского был когда-то большой голос. Ему прочили карьеру первого русского баритона... Я помню, как еще в университете барышни толпой бегали за ним... А эта Лидия Павловна бредила его славой... Она аккомпанировала ему, ухаживала за ним, берегла его голос, баловала... создала вокруг него целый культ. Казалось, она готова была на смерть ради того только, чтобы он имел маленький лишний успех. И надо признаться, что он ей многим был обязан. Но годы брали свое. Из прелестной женщины она мало-помалу превращалась в увядшую, немного-таки комичную старуху... Как-то уже и странно, и больно было видеть их вместе: он — совсем молодой, захватывающий своим пением и всей своей широкой, богато одаренной натурой, постоянно окруженный влюбленными девушками, а она — незаметная, комичная, старающаяся притираться и фальшивыми зубами продлить неудержимо уходящую

молодость... Над ними стали посмеиваться. Перовский, конечно, не мог этого не видеть, и страдал. Да он и сам, вероятно, уже тяготился этой противоестественной связью, томился и мечтал о новом, ярком, молодом чувстве. Но у него, к несчастью, была глубокая, благодарная, жаждущая подвига душа. Он не мог забыть прошлого, не мог принести ее в жертву, страдал и кончил тем, что в жертву принес себя. Он стал уверять и ее, и себя в мишурности всякой карьеры и уехал сюда, в какой-то хутор... Просто спрятался от людей и от жизни, которая слишком мучительно тянула его к себе... Теперь, конечно, все пропало... Он побледнел, потускнел... живут они в своем хуторке, почти ни с кем не знают, сажают виноград, копают грядки... Жизнь кончена... А какая это могла быть красочная, живая, интересная жизнь...

Девушка в белой рубашке с синими полосками, вся бледная от волнения и жалости, смотрела прямо в рот писателю темными скорбными глазами. И чувствуя этот трогательный, печальный взгляд, писатель рассказал эту историю, эту драму, незаметную и страшную, так торжественно и грустно, как будто читал чье-то скорбное и святое житие. И веяние печали тихо пронеслось над ними. Даже веселый доктор, давно знавший эту историю и никогда не придававший ей значения, приуныл, а жена его побледнела, и тайный страх тенью лег на ее молодое счастливое лицо. Когда писатель кончил и принялся набивать свою трубку, долго молчали. Слышно было, как за обрывом шумит море, где-то плещутся весла и несмело запекает молодой голос.

А потом начали спорить. Писатель горячо доказывал, что в этой жертве есть настоящая красота; студент озлобленно, как личного врага, высмеивал человека, который из-за какой-то старой бабы отказался от жизни, а веселый доктор начал ругать эту женщину, которая приняла жертву и не сумела уйти вовремя.

— Но ведь и она не виновата... — робко заметила его жена.

— Мало ли чего, не виновата... Так, значит, губить человека?

Доктор стал спорить уже с женой, увлекся и так нетактично, уже ни к селу ни к городу, намекнул, что свой своему поневоле — брат, что молодая женщина обиделась и чуть не заплакала. От ее зазвеневшего слезами голоса всем стало неловко, и больной студент, ссылаясь на сырость, предложил идти по домам.

Было, впрочем, и в самом деле уже поздно. Музыка давно замолкла, городок затих, набережная опустела, и только редкие огоньки в дальних дачах говорили о том, что еще не все спят.

Белая луна стояла над черной горой и внимательно смотрела в темную бухту; так же таинственно и холодно, как смотрела она, когда еще не было здесь веселого дачного городка и вечное море одно нарушало тишину, плескаясь о дикие камни.

Писатель и больной студент пошли вместе. Шли медленно, часто останавливаясь и продолжая спорить. И еще долго в молчании лунной ночи было слышно, как писатель громовым голосом, очевидно горячась, оттого что доказывает то, во что и сам не верит, спорил с иронически покашливающим студентом. Они стояли на набережной, освещенной луной, чернели двумя резкими тенями и заглушали громкими голосами нежную, звенящую музыку бухты, тихо поплескивающей в своих каменных берегах.

Как все веселые люди, не выносящие скуки, доктор считал своим долгом заботиться о развлечении знакомых. Он устраивал поездки к дальнему мысу, в лазоревых гротах которого, в прозрачной до дна воде, казалось, еще жили прекрасные нагие русалки с загадочными зелеными глазами. Потом организовал длинные путешествия в экипажах и пешком в горы, придумывал зажигать сухую траву на вершинах, и постоянно его белая панاما озабоченно рыскала в толпе по набережной в поисках нового интересного «номера», как он выражался. Но все это быстро надоело. Скоро даже самые слова «лодка» и «горы» наводили ленивую скуку. Тогда веселый доктор решил, что пора разнообразить общество, и вспомнил о Перовском. Ему показалось, что это будет очень интересно, а в его веселую легкомысленную голову как-то не пришла мысль, что это немножко жестоко: показывать для увеселения скупающих приятелей человека, который только тем и любопытен, что в жизни его была тяжелая и печальная драма.

Не пришло, впрочем, это в голову и писателю. Когда доктор поведал ему о своем намерении вытащить Перовского, он оживленно посмотрел сквозь вечные клубы дыма и сказал одобрительно добродушным басом:

— Что ж, это любопытно... Непременно приведите его.

И через несколько дней веселый доктор привел на поплавок какого-то высокого бородатого человека в больших сапогах и синей рубахе.

— Позвольте вас познакомить... Мой хороший приятель, Дмитрий Аркадьевич Перовский, — сказал он торжественным тоном шарлатана, показывающего какую-то достопримечательность.

Писатель поздоровался с Перовским как старый знакомый, радушно, по-приятельски. Жена доктора мило улыбнулась, и в ее преувеличенной ласковости было заметно желание приласкать несчастного человека. А в темных глазах девушки появилось то испуганное выражение, которое бывает у очень добрых и молодых людей, когда им показывают человека, которому уже недолго осталось жить.

Должно быть, Перовский почувствовал, что на него смотрят как-то особенно. По его красивому бородатому лицу с немного сумрачными глазами и резкими морщинами в уголках рта мелькнуло беспокойное выражение. Он сел и сейчас же схватился за предложенный стакан чаю и, опустив глаза, принялся перебирать пальцами по краям блюдечка.

— Давнехонько мы с вами не видались, — сказал писатель.

Перовский поднял глаза и сейчас же опустил их.

— Да, давно... — неловко ответил он.

— Ну, как поживает Лидия Павловна? — опять спросил писатель и по своей привычке прищурился от дыма.

Но тоненькой девушке, испуганно следившей за всеми, показалось, что он и прищурился, и спросил нарочно. Ей стало стыдно за него. Жаль Перовского и страшно, чтобы он не высказал перед этими грубыми, нетактичными людьми своего страдания.

Но Перовский, не подымая глаз, ответил спокойно и просто:

— Все болеет последнее время... Меня это страшно беспокоит... Должно быть, у нас на хуторе сыро все-таки...

И девушка расцвела: она обрадовалась, что он ответил так тепло о женщине, которая ведь разбила ему жизнь. И чувство жалости и удивления перед его, как ей казалось, великим и

скромным подвигом задрожало в наивном чистом сердце.

Сначала разговор не клеился. Перовский был сдержан и даже дик, смотрел вниз и нервно перебирал пальцами все, что попадалось под руку. Все старались быть с ним особенно ласковыми и внимательными, и это создавало ту неприятную принужденность, какая бывает у постели труднобольного.

Но потом писатель заговорил о последних литературных новинках, о последнем романе знаменитого индивидуалиста. Он хвалил роман и даже восхищался им как проповедью силы и свободы.

Пора, в самом деле, громко сказать, что человек создан для счастья, как птица для полета, — крикнул он громовым голосом, с удовольствием замечая, что его слушают три хорошенькие барышни за соседним столом.

— Счастье не только в победе над другими, счастье есть и в самопожертвовании, — негромко возразил Перовский.

Писатель заспорил, стал горячиться и кричать. Девушка в синей юбке опять испуганно поглядела на Перовского. Ей показалось, что писатель нарочно поднял этот вопрос и спорит не с Перовским, а со всей жизнью самого Перовского.

«Зачем они все его мучают?» — подумала она и чуть не заплакала от жалости и негодования.

Но Перовский опять как будто бы ничего не заметил. Он спорил только по существу, и мало-помалу разговор принял интересный безобидный характер. Все оживились, и Перовский тоже. Давно не слышанные слова пробудили в нем заглохшую искру живой, чуткой, мыслящей души. Глаза заблестели, складка у рта стала мягче. Видно было, что в уединении своего хутора, далеко от жизни с ее мучительными вопросами, громом и сутолокой, он много думал и выработал себе какое-то свое, углубленное и напряженное мирозерцание. Слова его были немного дики, иногда даже наивны, но острая серьезная мысль светилась в них и придавала им особую силу.

Вообще видно было, что он понемногу оттаивает и осваивается с людьми. Писатель говорил много, жена доктора была ласкова и красива, доктор — весел и равнодушен, больной студент — интересен своей злостью, а тихая молчаливая девушка — так внимательна и серьезна, что в этой легкой теплой атмосфере замкнутая, одинокая душа конченого человека стала оживать и распускаться. И когда после чая поехали кататься на лодке по серебряной зыби лунного света, широкой полосой легшего на море, Перовский уже чувствовал себя среди своих, и та постоянная неотвязная тоска, которая ходила за ним уже столько лет, незаметно, как червь точит дерево, подтачивающая его душу, куда-то отошла. Давно уже ему не было так легко и весело.

Черная вода крутилась у лодки и казалась страшной бездонной пропастью, лунный столб играл и вспыхивал миллионами голубых огоньков, точно плясали над водой мириады крошечных светлых эльфов. При лунном свете жена доктора и девушка в белой рубашечке казались необыкновенно красивыми, легкими, как лунные девы. Мимо проехала большая темная лодка с равномерно гребущими, точно кланяющимися по команде, рыбаками и когда въехала в лунный столб, стала совсем черная, загадочная и странная.

Веселый доктор стал просить Перовского спеть.

И опять девушка испугалась за него; она подумала, что пение в душе Перовского должно быть самым больным местом. Ведь это было лучшее, от чего он отказался. Но Перовский охотно согласился и запел.

В голосе его уже не было свежести, и манера огрубела. Должно быть, он многое позабыл, но ночь была такая красивая, так хотелось музыки и грусти, что, когда сильный мужской голос среди неугомонного, звенящего плеска волн высоко и свободно поднялся над морем, всем показалось, что лучше ничего они никогда не слышали.

— Замечательно хорошо, — тихо шептала жена доктора, и глаза ее странно блестели при луне.

— Да... — соглашался доктор и просил петь еще.

Лодка уплывала все дальше и дальше от берега, и уже кругом было одно вечно движущееся море, лунный свет и бескрайняя даль. Скалы на берегу стали легки и воздушны, и, как игрушечные, чернели на них старые генуэзские башни, окованные холодным светом.

А Перовский все пел и пел. Жена доктора совсем размякла, и ее красивое лицо побледнело от волнения. Больной студент притих, ему что-то взгрустнулось, но было хорошо. А тоненькая девушка сидела на руле и не двигалась. Она смотрела на светлую луну влажными, глубокими глазами и думала, что это прекрасно, что не может такой богатый, чарующий дар пропадать бесследно и скучно. И тайная мысль о том, что, быть может, она могла бы спасти этого человека, волновала ее, как предчувствие первой весенней любви.

— Вот это вы здорово, — с чувством сказал писатель после одного красивого и трагического романса. — Я слышал, как пел эту вещь Артонин, но мне не понравилось... У вас больше силы, больше трагизма... Очень, о-очень хорошо...

— Артонин? — вдруг переспросил Перовский, и в голосе его что-то вздрогнуло. — Нет, что же... я давно бросил... отстал... — вдруг выговорил он упавшим тоном, и прежняя беспокойная нотка прозвучала в его словах. Он замолк, сел и стал смотреть на воду, темными кругами выплывавшую из-под лодки.

И в эту минуту девушка, сидевшая на руле, тоненькая, освещенная луной, вдруг несмело, но торопливо стала рассказывать, как вчера она ходила на этюды на песчаный берег и как там было светло, хорошо, как радостно светилось солнце и ласково плескалось море. В ее робких словах было так много детской нежности и робости, что казалось, будто там, где она была, и море, и солнце, и горы были какие-то особенные: маленькие, нежные, добрые, совсем не такие громадные и грозно красивые, как в действительности.

Она рассказывала, торопясь и путаясь, и все слушали ее с недоумением. Только Перовский сердцем понял, что ей просто жалко его и что с трогательной наивностью она хочет отвлечь его мысли к чему-нибудь светлому и легкому. Он посмотрел на ее хорошенькое, освещенное луной личико, на котором испуганно и просительно блестели темные глаза, и подумал с благодарной нежностью: «Милая девочка».

И ему опять стало легко. Чтобы успокоить девушку, он сам стал рассказывать о своих скитаниях по горам с ружьем и собакой. Рассказал, какая это милая собака, белая как снег, Леда. Потом опять пел, и довольные, оживленные, с душами, точно омытыми ночной свежестью моря, они вернулись в бухту.

Жена доктора устала от впечатлений. Только став на землю, она почувствовала, что ее все-таки укачало. Поэтому поужинали на поплавке без нее и скоро разошлись. Разговаривали мало. Казалось, что все хорошее, что можно было сделать, сделано, и не хотелось портить настроения.

Доктор увел жену спать, писатель остался выпить пива, больной студент пожаловался на сырость и ушел, покашливая. Перовскому пришлось проводить девушку.



Надо было обойти кругом всю бухту, уже замолкшую и темную, как мертвое озеро. Тень горы падала на городок, но противоположный берег был весь белый от луны. И когда, повернув по берегу, Перовский и девушка вышли на ту сторону, они сразу окунулись в холодное море света, в котором и одинокие белые дачи, и темные кипарисы, и горы, и они сами казались легкими, прозрачными.

И почему-то захотелось говорить, и слова выходили удивительно красивыми, интересными, полными значения большего, чем было в них днем. Девушка начала рассказывать, что она учится в школе живописи, любит свое искусство больше всего на свете и мечтает быть художницей. Она говорила, волнуясь и даже дрожа от возбуждения, как будто уговаривала его понять всю прелесть искусства, всю его загадочную, полную света и красок жизнь. Перовский слушал и умилялся, что в таком тоненьком, слабом теле может жить столько восторга и красоты.

«Милая девушка», — думал он.

И сам удивлялся той легкости и волнению, которые возбуждали в его затихшей душе лунная ночь, шепот и звон бухты и близость молодой хорошенькой девушки. Он чувствовал себя счастливым и весело вкладывал в каждое слово самое лучшее и интересное, что было в нем.

Уже возле самой дачи, где жила девушка, она спросила его, уже не боясь, что испугает и обидит:

— Неужели вам не тяжело навсегда отказаться от искусства?

— Почему отказаться? Петь — я и теперь пою... Почему надо непременно петь на сцене, за деньги... Это предрассудок, — сказал Перовский. И ему в самом деле в эту минуту казалось, что это правда. Ведь и здесь он может петь вот такой милой девушке, чувство которой уж во всяком случае дороже тех сотен пошлых людей, которые будут сидеть перед ним в театре. Бог с ними, с этой сценой, с малеванными декорациями, с миром интриг, аплодисментов и рублей. Не в этом счастье.

— Но почему же? — робко спросила девушка, когда Перовский сказал, что он давно оставил мысль о карьере певца. — Ведь это так прекрасно... Боже мой, как хорошо!

— Это старая история... Не стоит говорить об этом... Что кому дано... махнул рукой Перовский.

Девушка молчала и глядела на него темными молящими глазами. Должно быть, в эту минуту они уже прощались, потому что она держала его за руку тоненькими, слабыми пальцами и смотрела прямо в глаза.

— Ну, до свиданья, — сказал Перовский. — А ведь я до сих пор не знаю, как вас зовут, — неожиданно вспомнил он.

— Лидочка, — машинально ответила девушка.

— Лидочка, — повторил он и засмеялся.

И когда шел один домой на хутор по озаренному лунной белому шоссе, все думал о ней. Как будто что-то радостное случилось с ним. Было легко и приятно шагать по твердому шоссе, слушать дальний скрип запоздалой мажары, дышать всей грудью. Уснувшие лунные плоскогорья были воздушны и красивы. Небо тихо шевелило яркими звездами, и, окованные синим серебром, далеко круглились в темном небе таинственные, вечные горы.

Глубокою ночью, когда в долинах залегла тьма и только на горах еще лежал холодный синий

свет, Перовский наконец добрался до хутора.

### III

Как быстро развиваются и умирают события жизни. И каждый проходящий день, вчера только бывшее счастье, сегодня кажется уже далеким и смутным сном.

Никогда потом Перовский не мог вспомнить, как началось и прошло то, что навсегда осталось в его душе.

И когда он старался припомнить, ему представлялись только отдельные картины, полные света и ярких красок.

Он помнил только, что ему стало скучно на хуторе. Как бывает после большого и шумного праздника, казалось, что совершенно нечего делать. Он долго и много ходил по горам, но горы были те же, что и вчера; так же красивы были их голубые высоты, так же море синело вдали, и все было пусто и однообразно. И прежде были приступы такой раздражающей, нудной скуки, но то была тупая боль, которая утихала и смирялась, когда солнце грело, когда расцветали розы на краю обрыва, когда над оврагами, вольны и царственны, кружили седые орлы и природа с каждым днем открывала новые тайны своей красоты. В этой близости к земле, лесу и горам таяло и растворялось, как ничтожное в громадном, всякое иное чувство, кроме тихого и удивленного восторга. Но на этот раз тоска не отступала. И закат с его кровавыми красками казался мрачным, и горы — безжизненными громадами, и море пустыней, и дальние плоскогорья с их вечными морщинами оврагов — какой-то навеки застывшей унылой тоской.

Сначала он даже не понимал, что это значит, и когда Лидия Павловна тревожными глазами спрашивала его, Перовский отвечал:

— Нездоровится мне что-то...

Но однажды, поехав по делам в приморский город, он встретил там больного студента. Они вместе пообедали в бульварном ресторане среди нарядной толпы щеголеватых офицеров и шикарных дам в трехаршинных шляпах. Студент, как всегда, покашливал, злился и ворчал на лакеев, которые медленно подавали. Перовскому грустно было смотреть на него, и тайная мысль говорила:

«Вот, умирает человек, а сердится, что ему долго не подают жареной камбалы по-гречески... Стоит ли вообще волноваться, мучиться и думать, если смерть у всякого за плечами».

Смутное чувство напоминало ему, что и сам он страдал во имя чего-то, что также ничтожно перед лицом смерти. Но мысль эта тогда же оформилась и скользнула, не задев души.

Но все-таки студент показался ему родным, и, несмотря на его необщительность и озлобленность, Перовский расстался с ним, как с лучшим приятелем. И когда студент уехал, понял, что его тянет туда, в маленький светлый городок, к голубой бухте, к веселым, живым, полным интереса к жизни людям. Перовский даже испугался. Ему представилось, что это опять начинается то невыносимое томление, которое пережил он в первый год своего добровольного одиночества. Тогда было так мучительно, что самая мысль о возможности тех настроений навела на него ужас.

Но когда, не вытерпев, он пешком шел на курорт, и маленький хуторок, молчаливый пчельник и унылая женщина с седыми волосами остались где-то за зеленым гребнем горы, Перовским

овладело чувство радостного, мальчишеского нетерпения. Все скорее и скорее шел он, сам удивлялся своему оживлению и думал:

«Должно быть я очень наскучался, что меня так тянет к таким, в сущности, простым, обыкновенным людям».

Мысли о девушке в синей юбке и белой рубашке не было. Он вспоминал о ней смутно, не отделяя ее от ее спутников, лунной ночи, темной бухты и серебряной ряби на море.

И только, когда увидел ее, когда им пришлось остаться вдвоем и их обоих, как близких, вместе обняло горячее солнце, он почувствовал, как умирает и тает в душе что-то старое, надоевшее, унылое и как начинается что-то яркое, свежее, новое. И это новое, это светлое счастье, вся радость и красота солнца на небе, в ней, этой тоненькой девочке, под белой кофточкой которой нежно золотится молодое женское тело.

Веселый доктор легко уговорил его остаться дня на три, и от этих трех дней осталось у него впечатление света, смеха, моря, солнца и греющей близости первой женской молодости.

Лидочка, как она назвала себя в первый вечер и как, смеясь, продолжал ее звать Перовский, привыкла к нему, не стеснялась его и в долгих разговорах на обрыве в лунную ночь, в манящей близости развернулась перед ним, как цветок перед солнцем, вся тихая прелесть только начинающей жить и чувствовать женщины.

Это был целый мирок, в котором было столько чистых и глубоких переживаний, так чутко отражалась всякая красота и так было много страдания от того, мимо чего пожившие люди проходят с миной привычного сожаления, что нельзя было не любить ее.

И уже в ее темных глазах, когда она стыдливо подымала их на его помолодевшее, оживленное лицо, иногда мелькала та робкая и таинственная печаль, которая говорит о том, как тонко и красиво переламывается беззаботная наивная девушка в полную жизни и желания женщину.

Особенно ярко остался в памяти последний день.

Они вместе стояли на камне, и белая пена бурно лизала его под ногами. Лидочка кончиками пальцев придерживала от ветра свою светлую соломенную шляпу, и Перовскому в широком рукаве видна была вся ее тонкая и слабая рука с розоватым круглым локотком. В первый раз обаяние чистой, девственной женской наготы взволновало его. Ему захотелось замолчать, не говорить ни о будущем, ни о настоящем, ни о прошедшем, а просто взять и тихо поцеловать эту слабую руку. Все сердце его задрожало в бурной и тревожной дрожи. Одну минуту он думал, что не справится с собой. И должно быть, она почувствовала это. Повернулась к нему покрасневшим лицом с затуманившимися глазами, посмотрела и вдруг вся затрепетала, как чайка под ветром.

И мелькнула в ее глазах мольба, точно она просила пощады.

А синее море взволновалось и все было в буйном, требовательном движении.

В ту же ночь, сам не зная зачем, он пошел один к той даче, где она жила. Всего только полчаса, как он сам проводил ее, а между тем Перовский чувствовал, что не может уснуть, не может не пойти. Что-то сильное его звало и толкало.

Опять белая луна стояла над черной торой. На том берегу постепенно затихал сонный городок и один за другим гасли желтые огоньки. Перовский шел как во сне. Что-то огромное наполняло его сильное мужественное тело. И ему казалось, что ничего не было, что долгие годы сонной жизни — только сон, а он — молодой, свободный, как когда-то.

Почему-то ему казалось, что он непременно увидит Лидочку. И несколько не удивился, когда увидел ее.

Властный, таинственный голос любви — вечная тайна жизни.

Девушка в белой рубашке, вся окованная холодным серебром, сидела на открытом черном окне и, казалось, ждала. Таинственное белое лицо луны прямо смотрело на нее, и тянулись над бухтой голубые волны, точно кто-то властный и светлый колдовал в эту ночь.

— Лидочка, — тихо позвал Перовский, чувствуя, как дрожит его сердце и земля тихо уплывает из-под ног. — Лидочка, — повторил он громче.

Она вдруг выпрямилась, взглянула вниз, и странно, как будто собираясь улететь, протянулись ее тонкие руки в белых широких рукавах. Что-то тайное и жуткое было в ней в эту минуту, но она вдруг отшатнулась от окна и исчезла в темноте.

Потом долго было тихо, и только слышалось, как бухта звенит, и казалось, что лунные лучи не безмолвны, что они с тихим шепотом ткут какую-то голубую сказочную сеть. Потом скрипнула калитка, и белое платье мелькнуло при луне.

Лидочка подошла к нему и стала, опустив руки. Она ничего не спросила, ничего не сказала. Темные глаза смотрели мимо него на светлую луну, как будто ее тянул этот настойчивый, колдующий свет. И вся поза ее, с опущенными руками, приподнятой головой и влажными блестящими глазами была бессильна, как будто она отказывалась от борьбы и вся отдавалась этой ночи, его воле, своему счастью и своей судьбе...

#### IV

Поздно ночью Перовский шел назад по набережной. На опустелом поплавке сонные, сердитые лакеи убрали скатерти и грудями сносили тарелки. Только за одним столом сидел большой, дымящий, как паровоз, писатель, уныло курил и молчал. Должно быть, лунная ночь томила его. Он был задумчив, пил пиво и сосредоточенно дымил трубкой один на всем поплавке.

И, чувствуя потребность все обнять своим счастьем, которое наполняло его грудь до боли, Перовский окликнул писателя.

— А, это вы? — спросил тот, очнувшись. — Проводили?

— Да... проводил... Боже мой, какая ночь! — ответил Перовский, не замечая даже, что говорит. Он встал против писателя и смотрел на него открытыми блестящими глазами.

Писатель был не в духе. Он отпил пива, набил трубку и, подняв глаза, подумал. Должно быть, он мутно догадывался, отчего так блестят глаза и так странен весь Перовский, точно другой человек — молодой, сильный и свободный.

И, помолчав, писатель машинально спросил:

— А как теперь здоровье Лидии Павловны?

#### V

Луна зашла, и ближе придвинулись темные призраки гор. Тьма хищно выползала из ущелий и легла на грудь земли.

Маленький хуторок потерялся и растаял в ней. Только один огонек светился в темных деревьях и говорил о какой-то доживающей, никому не нужной одинокой жизни.

Светлое пятнышко замерещилось во тьме. Это была собака. Белая Леда бежала навстречу Перовскому через виноградник, и еще издали было слышно ее радостное повизгивание. Она стала прыгать на грудь, стараясь лизнуть в лицо.

— Милая, — сказала Перовский. И чуть не заплакал от умиления и жалости. — Не спала, ждала меня.

Собака терлась об его ноги, била хвостом, припадала к земле и вскакивала. И эта бессловесная любовь, такая нетребовательная к вниманию, так мало умевшая выразить свое непонятное, но громадное чувство, больно тронула сердце. Первый раз Перовский понял в эту ночь, как ужасно так любить и так мало значить для того, кого любишь.

Тишина полного одиночества охватила его, когда Перовский вошел в дом. Темнота и уныние ходили по пустым комнатам. Только в столовой горела почти выгоревшая лампа и с книгой сидела Лидия Павловна.

Она увидела его с собакой, подняла робкие и радостные, что-то чувствующие глаза и сказала тихо, как будто боясь напомнить ему то, на что не имела права:

— А мы с Ледой ждали тебя...

И мгновенно представилось Перовскому, как вечер за вечером сидели здесь при одинокой лампе стареющая женщина и белая собака, чутко прислушиваясь к каждому звуку, который рождала темная горная ночь. И в то время когда свободный и веселый он радовался своему новому счастью, жил полной жизнью и говорил себе о своем праве покинуть их, надоевших и мешавших, они сидели и каждая по-своему думали только о нем. Представляли себе его лицо, радовались, что ему весело, мечтали, что когда-нибудь пройдут эти одинокие дни и он опять придет. Как будто у них не было собственной жизни, и жили они только для того, чтобы любить его.

Уже перед рассветом, бледный, растрепанный, с синими кругами под глазами, похожий на человека, пережившего ночь перед казнью, Перовский вышел во двор и, глядя на посеревшие плоскогорья, унылые, однообразные, как бы никогда не знавшие солнца, отчаянно схватился за голову.

«Как я мог забыть, — думал он со смертельной тоской и ужасом. — Я буду счастлив, уеду далеко-далеко, а она останется здесь одна, совсем одна... И будет думать обо мне, вспоминать всякую мелочь... беречь мои ноты, мои ружья, кормить такую же старую белую Леду... Длинными зимними вечерами будет одна у лампы, старая, слабая... А я даже не буду вспоминать ее...»

И с отчаянием он почувствовал, что нет... что ему не вывернуться из-под власти силы, давящей его. И как бы он ни был счастлив, какие бы успехи ни ожидали его, призрак маленькой, седой, одиноко сидящей у лампы женщины никогда не уйдет от него.

Осень была уже во всем. И в прозрачном воздухе, и в слишком ярких, кристально чистых красках заката, и в том неуловимом аромате увядающих деревьев, который напоминает о тихих кладбищах, о том, что все проходит.

Солнце село, и внизу в долине легли туманы. Только на вершинах гор еще ярко золотились освещенные осенние леса, и казалось, будто горы облиты расплавленным золотом.

Экипаж плавно катился по ровному белому шоссе.

Большой писатель вынул изо рта свою вечную трубку, страшно надоевшую всем спутникам, и сказал мечтательно:

— Ужасно странно думать, что там, наверху, теперь солнечный тихий вечер... Деревья стоят все в золоте и не шелохнутся. Тянется золотая паутина... Полная тишина. И никого там нет, никто не смотрит, никто не восторгается... Тысячи лет стоят там деревья и гаснут ясные вечера, а никого нет... Разве лисица потянет куда-то за своим делом или орел заворочится на вершине...

Писателю, должно быть, хотелось выразить, как грустно думать, что люди вовсе не нужны этой прекрасной вечной природе, живущей и без них своей полной красивой жизнью. Но мысль эта как-то не вытанцовывалась у него. И никто его не понял. Веселый доктор, еще больше пополневший за эти два года, сказал:

— Да... действительно красиво... Ты не жалеешь, Ната, что поехала?

И жена доктора, тоже пополневшая, похорошевшая и успокоенная, ласково улыbnулась ему.

— Конечно, нет... Я боюсь только, что назад будет холодно ехать ночью... Надо было раньше выезжать, я говорила...

Вечер все выше и выше поднимался со дна долин. Уже только одна вершина горела красным и желтым пламенем заходящего солнца. Но и она скоро потухла, и синие сумерки неслышно всползли на горы. В дальних туманах утонули засыпающие плоскогорья. Угрюмо, как тысячелетние морщины, сдвинулись овраги, и туман клубами выполз из них. Точно холодные духи вечера вышли водить хороводы на ровных вершинах. Проехали татарскую деревню, где неистово лаяли собаки и бежали за экипажем чумазые ребяташки, похожие на глупых чертенят. Потом опять выехали на лесную дорогу, и тогда, когда уже всем стало казаться, что лучше было бы не ездить, показался маленький хуторок, прилепившийся на скате обрыва, как гнездо. Залаяла собака, и издали было видно, как бежала она навстречу через голый, поломанный виноградник, мелькая белым комочком.

— Леда! Леда! — закричал доктор. — Не узнала? Иси!

Собака подбежала ближе, недоверчиво помахала хвостом и твякнула раза два, но уже просительно, точно извиняясь, что не может припомнить знакомых.

Пока вылезали из экипажа и разминали затекшие ноги, было весело. Все были довольны, что наконец приехали. Доктор подшучивал над молодым человеком, сидевшим на козлах, рядом с кучером.

— Не по своей дороге пошли, Николай Павлович: вам бы выездным быть, а вы в певцы...

Писатель грохотал громовым басом. Но молодой человек, длинный и худой, не отрываясь, все еще глядел на плоскогорья, точно старался понять тайну их унылой и однообразной красоты.

От домика шла к ним маленькая, согнутая женщина, с белыми волосами и в грязненьком капотце. Она, видимо, тоже не узнавала гостей и наудачу улыбалась смущенно приветливой улыбкой.

— Здравствуйте, Лидия Павловна, — закричал веселый доктор. — А мы к вам в гости.

— Ах, это вы, доктор. А я было и не узнала... давно не видались... Вот будет рад Дмитрий Аркадьевич...

— А он дома?

— Он тут недалеко, сейчас придет. Там у нас овцы пчельник поломали, так он все там возится... Он сейчас... Пожалуйте, пожалуйста... — говорила Лидия Павловна, и с ее лица все не сходила робкая, заискивающая улыбка.

В маленьких комнатах дачи было неуютно и темно. И почему-то все почувствовали себя неловко, словно силой ворвались, незваные, непрошенные. Жена доктора села на окно и задумалась, писатель принялся набивать свою трубку. Молодой человек, длинный как жердь, ходил по комнате и в сумраке старался рассмотреть картинки и фотографии на стенах. Только веселый доктор не унывал. Он вызвался пойти за Перовским. Молодой человек немедленно увязался за ним.

Они прошли унылый виноградник, осмотрели пчельник, дошли до проволочной изгороди, за которой уже скатывался вниз зеленый косогор, но никого не было видно. Леса, темные и мрачные, одни стояли над долиной.

— Унылое место, — сказал долговязый молодой человек, — как они могут тут жить.

— Так и живут, — неопределенно ответил доктор и закричал громким, и резким голосом: — Дмитрий Аркадьевич! Гоп, гоп!

Никто не отозвался. Горы молча и угрюмо смотрели сверху. Тишина ползла из оврага. Стало жутко, как будто они на огромном кладбище звали человека, который давно умер.

— Дмит-рий Аркадь-е-евич! — опять закричал доктор.

— Ау! — неожиданно отозвался чей-то голос, и над краем оврага, точно из-под земли, показался Перовский, в больших сапогах и в старом рыжем пиджаке, наброшенном на Плечи.

Он подошел быстро, видимо взволнованный неожиданным появлением людей. И пока подходил, доктор и долговязый молодой человек, которому дорогой рассказали историю Перовского, рассматривали его, как свободные люди рассматривают вечного каторжника. С любопытством и состраданием.

За эти два года он очень постарел и опустился. В большой бороде и по-прежнему буйно кудлатых волосах показалась седина. Лицо еще резче прошли морщины. Только глаза смотрели, как раньше, остро и немного дико.

Трудно было понять, обрадовался ли Перовский гостям, но встретил он их радушно и равнодушно. Только когда веселый доктор, знакомя с ним долговязого молодого человека, сказал:

«Это ваш коллега, певец!..» — В глазах Перовского мелькнула искорка. Он ласково заговорил с новым знакомым, стал расспрашивать, где он учился, и так как оказалось, что они занимались у одного и того же старого профессора, то разговор их стал оживленным, полным воспоминаний и имен.

На даче зажгли лампы, на столе заблестел кипящий самовар, стало уютнее. Даже показалось, что здесь должно быть очень весело и приятно жить.

Во время чая разговор все вертелся вокруг музыки, живописи, литературы. И писателя поразило, что Перовский ничуть не отстал, знал все новое, всем интересовался, во взглядах был так же искренен и широк.

«Удивительный человек, — с грустью подумал писатель. — Другой на его месте деревом стал бы... а он- на... Видно, правда, что дух человеческий развивается совершенно свободно, несмотря ни на какие обстоятельства...»

И в голове писателя родился план рассказа на эту тему.

После чая веселый доктор стал упрашивать Перовского петь. Почему-то всем казалось, что Перовский должен отказаться, что просьба эта будет ему неприятна, как напоминание. Но Перовский согласился очень охотно, даже с видом польщенным. Это была новая черточка в нем, которую с неприятным чувством сейчас же подметил писатель.

Лидия Павловна села за старенькое, полурасстроенное пианино. Гости уселись по стенам, и Перовский запел.

Пел он как будто по-прежнему хорошо, только немного было странно смотреть на дикого, в больших сапогах и с всклокоченной полуседой бородой человека, который, старательно раскрывая рот и дирижируя себе рукой, поет бравурные блестящие арии, напоминавшие огромный освещенный театр, декольтированных дам, мундиры, звуки оркестра и ярусы лож.

И еще немножко было смешно, когда после каждого номера, Лидия Павловна, потирая ручки и блестя покрасневшим от наслаждения лицом, подбегала то к одному, то к другому и спрашивала:

— Не правда ли, хорошо?.. Правда?

— Да... — принужденно соглашались гости, но им нравилось все меньше и меньше.

Слишком кричал Перовский, слишком старался, чересчур предупредительно пел все новое и новое.

Долговязый молодой человек смотрел в стакан, жена доктора преувеличенно хвалила, явно, чтобы доставить удовольствие, писатель стал угрюм, веселый доктор скучал.

Но Перовский ничего этого не замечал. Кончив одну вещь, он сейчас же искал новую в куче нот, наваленных на пианино. Лидия Павловна садилась, озабоченно расправляла платье, а потом подбегала спрашивать:

— Не правда ли, хорошо?

И писателю почему-то представилось, как по вечерам, когда все замолкает кругом, горит лампа, поет он, и она восторгается, хвалит, говорит, что равного голоса нет в мире, а он верит, оживленно размахивает руками и неискренно спорит:

— Ну, ты льстишь мне... Хотя эта вещь действительно выходит у меня недурно, я сам чувствую... К своему пению я могу относиться совершенно беспристрастно.

И писателю становилось все больше и больше не по себе.

Жена доктора смотрела на Перовского, на его большую бороду, седину в волосах, старательно раскрывающийся рот и уже не хвалила. Ей хотелось плакать. Бог знает, о чем.



«Странно, — думал веселый доктор, — прежде его можно было слушать всю ночь, а теперь... как будто и довольно бы».

Наконец он не выдержал и стал просить спеть и долговязого молодого человека.

Перовский как будто удивился этому, но сейчас же сделал любезное, интересующееся лицо и присоединился к просьбам доктора.

— Конечно, спойте, — говорил он, точно милостиво разрешал.

— Нет, право... я давно не пел... пусть лучше Дмитрий Аркадьевич споет... Вот вы знаете Ребикова: «Слишком много цветов»?..

В голосе его звучало что-то странное, точно он боялся чего-то.

Но веселый доктор не отставал:

— Уж эти мне артисты, вечно заставляют просить... — говорил он.

Тогда долговязый молодой человек встал.

— Ну, пожалуй... Только одно что-нибудь...

Он неловко подошел к пианино, долго выбирал и наконец положил на подставку тоненькую тетрадку. Лидия Павловна села и опять долго расправляла платье. Молодой певец стал позади ее стула, выпрямился, стал как будто выше на голову и запел.

Звучно и торжественно наполнил комнату его могучий прекрасный голос, и даже легкомысленный доктор понял, почему он так упорно отказывался петь: ему было жаль Перовского, этого конченого человека, который только и жил тем, что считал себя великим артистом, могущим и только не wanting потрясти мир.

Грубым и бедным казался голос Перовского в сравнении с этим глубоким голосом, в котором властно звучала та поднимающая душу и сжимающая сердце красота, которая дается только великою любовью к своему таланту, бесконечным трудом, не останавливающимся ни перед чем, всю душу вкладывающим в одно неутолимое стремление.

И когда он кончил, долго молчали и с удивлением, с тайным уважением смотрели на этого бледного долговязого молодого человека, который смиренно отошел к своему стакану и сел, не подымая глаз.

Просили петь еще, говорили с ним нежно, осторожно, точно боялись спугнуть что-то прекрасное, нарушить свое впечатление простыми, пошлыми словами. Но молодой человек упорно отказался и стал пить чай. О Перовском как-то все забыли, и когда он заговорил, всех поразил его растерянный, странный вид и тон. Он хвалил пение, но похвалы его неприятно резали слух.

— Очень, очень хорошо... — говорил он. — Великолепно... Только напрасно вы даете такой открытый звук в заключительной фразе... Здесь надо было бы больше блеска, знаете... Но голос у вас прекрасный... Видно, что вы еще мало учились, конечно, но все-таки... очень хорошо.

Жалкое, маленькое чувство засквозило в этих раздерганных, неожиданных переходах от похвал к замечаниям. Все молчали и слушали, но никто не смотрел на него. Писатель угрюмо набивал трубку, жена доктора виновато улыбалась, и ей опять хотелось плакать. Только

доктор неожиданно рассердился и ввязался в спор:

— Ну что вы говорите, Дмитрий Аркадьевич... По-моему, это прекрасно, и больше ничего... Глаза Перовского беспокойно забегали.

— Я ничего не говорю... Голос, конечно, прекрасный... Я только думаю, что следовало дать больше блеска... Вы сами согласны со мной?

— Да... может быть... — опуская глаза, сказал молодой человек.

— Нет, в самом деле?... Вы сами так думаете?... Да? Я прав ведь?..

Голос Перовского прыгал, глаза беспокойно бегали. Было и жалко, и досадно, и противно слушать его. И большой писатель, не вмешиваясь в разговор, хмуро подумал:

«Боже, Боже, как он изменился... А ведь прежде как он радовался, когда видел талант... как носился с каким-нибудь открытием... Где это все? Это не он, это дрянь какая-то... мелкая, завистливая дрянь... Тьфу, какая гадость!» — думал он, прислушиваясь к неестественному голосу Перовского.

А Перовский все силился что-то доказать, в чем-то оправдаться, волновался и, видимо, страдал. Он сам чувствовал, что им владеет простая и дрянная зависть, и боялся, чтобы его не поняли. Оттого он усиленно старался доказать, что говорит совершенно беспристрастно, что певец сам согласен с ним, и они прекрасно понимают друг друга. Ему никто не верил, и он чувствовал это, с ужасом видел, что с каждым словом все больше и больше выдает себя, и метался из стороны в сторону, как загнанный волк.

А жена доктора смотрела на него, и ей хотелось плакать.

Только маленькая Лидия Павловна ничего не замечала. Она потирала ручки, суежилась и старалась отвлечь внимание от певца на то, что ей казалось несравненно интереснее, на Перовского. Она вмешалась в разговор и совершенно некстати сказала:

— У Дмитрия Аркадьевича эта вещь выходит тоже превосходно... Когда он пел ее в концерте, было четыре биса...

Долговязый певец, выбрав минуту, встал и пошел опять бродить по комнатам, рассматривая картинки на стенах. У одного этюда масляными красками он долго стоял в глубоком внимании. Маленький кусочек холста весь горел мягким, радостным весенним солнцем. Таял снег дрожащей голубоватой дымкой. Тоненькие березки блестели наивно и чисто, как невеста. Ярко голубел клочок весеннего неба.

— Чей это этюд? — спросил он, когда Лидия Павловна подошла к нему.

— Это одной барышни... поклонницы Дмитрия Аркадьевича... Она ему подарила... Хорошо?

— Да, — серьезно и глубоко сказал певец.

— У нее был большой талант... Умерла она... застрелилась, говорят, что ли...

Долговязый певец ничего не сказал. Постоял и отошел.

Стали собираться домой. Была уже ночь, и лошадей нашли только с фонарем. Опять долговязый молодой человек взмолился на козлы, рядом с кучером.

Перовский и Лидия Павловна долго шли за экипажем. Перовский продолжал спорить с доктором, но уже безнадежным, упавшим голосом. Доктор не возражал. Лидия Павловна

просила заезжать еще.

— Дмитрий Аркадьевич новые ноты получит, — говорила она в темноте.

— Непременно, непременно... — отвечал из мрака невидимый доктор.

И все чувствовали, что больше не приедут.

Перовский молчал.

Тьма лежала на плоскогорьях, и туман злобно клубился в их тысячелетних морщинах. Не успели отъехать полверсты, как хуторок совершенно растаял во мраке, только огонек в освещенном окне еще сверкал, но и он скоро мигнул и исчез за поворотом. Должно быть, заехали за деревья.